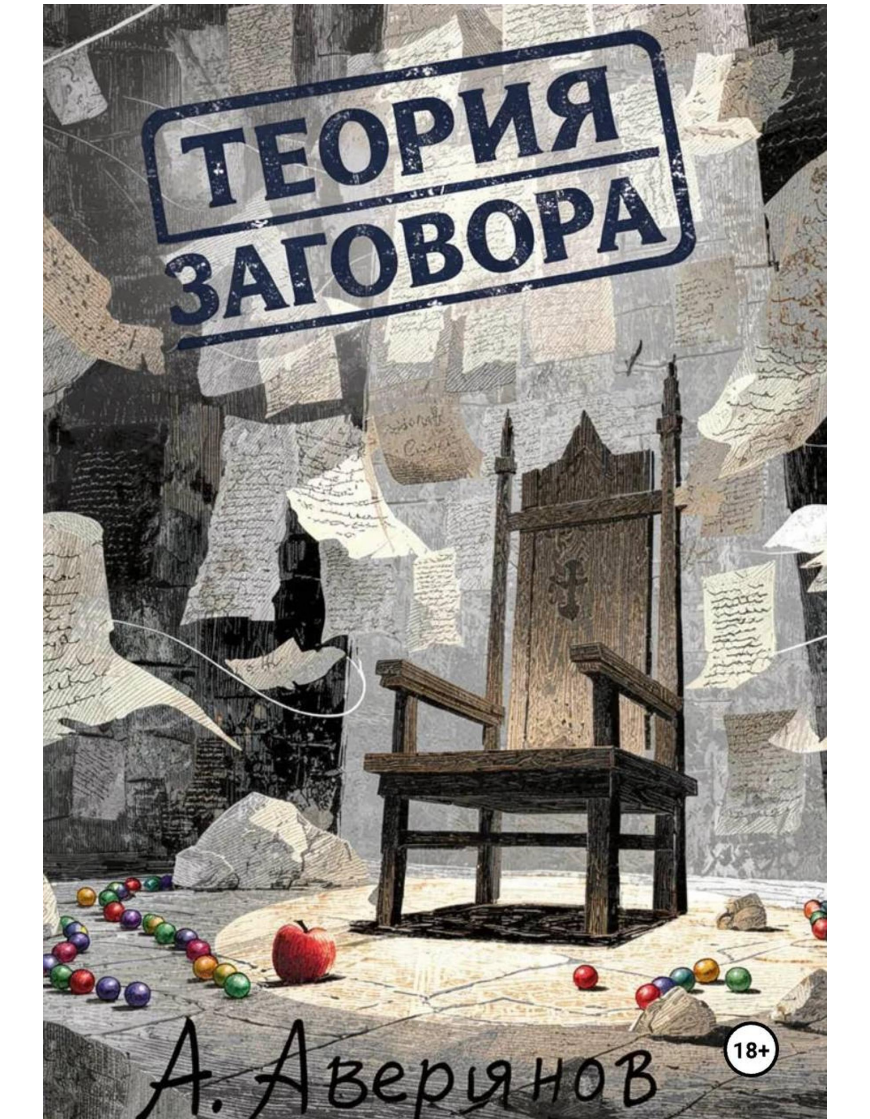


ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

The background of the cover is a complex collage. It features a dark, textured wall with numerous pieces of aged, yellowed paper pinned to it. These papers contain various types of handwriting, including cursive and printed text, some of which are partially obscured or torn. In the center-right of the image is a large, dark wooden chair with a high, pointed backrest and armrests. The floor is made of light-colored stone tiles. Scattered across the floor are several colorful beads in shades of red, green, blue, and yellow, along with a single red apple. The overall composition suggests a theme of investigation, mystery, or a search for hidden information.

А. Аверьянов

18+

Алексей Аверьянов

Теория заговора

<https://litres.ru/74356014>

SelfPub; 2026

Аннотация

А что, если бы на небесах существовала не благодать, а канцелярия? И в этой канцелярии — свои чиновники, архивы, интриги и сменяемые эпохи? А что, если бы идеи республики и демократии, принесённые с Земли, однажды проникли в небесную бюрократию — и там, наверху, решили, что пора свергать монарха?

Это книга о том, как философия, рождённая в земных спорах, перевернула мировой порядок. О том, как Господин без раба теряет власть. И о том, что происходит с тем, кто эту власть потерял.

Что чувствует Создатель, когда его проект выходит из-под контроля? Как выглядит рай, в котором вместо божественного промысла работают регламенты и комитеты? И что остаётся от Бога, когда его собственная система больше в нём не нуждается?

Философский мысленный эксперимент, облачённый в форму канцелярской саги. Без ответов — только вопросы. И много, очень много бумаг.

Алексей Аверьянов

Теория заговора

Дисклеймер (он же «Предупреждение о рисках»)

Официальное предупреждение

Настоящим удостоверяю, что:

1. Автор является лицом, склонным к избыточной рефлексии и чтению случайных статей в ночные часы. Всё нижеизложенное — продукт его воображения, не подтверждённый ни одной авторитетной инстанцией.
2. Любые совпадения с реальными историческими событиями, лицами или религиозными текстами признаются автором случайными и нежелательными. Если вы нашли такое совпадение — автор просит считать, что вы ошиблись.
3. Автор не претендует на истину в последней инстанции, не имеет лицензии на богословскую деятельность и вообще-то не очень понимает, о чём пишет. Его компетенция ограничивается умением складывать бумаги в стопку и отличать входящие от исходящих.
4. Просьба не рассматривать данное произведение как:
 - а) учебное пособие
 - б) пророчество

· в) повод для возбуждения уголовного дела

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к автору с жалобой. Автор, как правило, отвечает быстро и уже жалеет, что написал это.

5. Если вы дочитали до конца — вы предупреждены. Ответственность за потраченное время автор на себя не принимает.

Принято к сведению. Подпись отсутствует.

Раздел один. Входящие

Акт 1. 1

Небеса были старше Земли — настолько, что среди ангелов не осталось никого, кто помнил бы времена без канцелярии. Тысячелетиями здесь существовала цивилизация со своей иерархией, архивами, интригами и сменой эпох. Ангелы не были бесплотными духами — они были чиновниками, стражами, архивариусами; у каждого была должность, у большинства — амбиции, у некоторых — даже полномочия.

Земля числилась в реестрах как один из проектов Верховного — правителя, который создал этот мир и формально продолжал им управлять. Интерес его, впрочем, угас так давно, что напоминать об этом считалось неучтивым. Последняя резолюция по земному вопросу была наложена во времена Потопа и сводилась, в сущности, к слову «переделать».

На Земле это называли концом света. На небесах — перерасходом воды и внеплановыми работами по восстановлению экосистемы. Сверхурочные, разумеется, никто не оплатил.

Ангелы редко смотрели вниз: слишком далеко, слишком мелко. Хотя совсем без внимания Земля не оставалась — кое-кто наверху от скуки поглядывал на неё, как смотрят затянутую пьесу, которую автор бросил посреди действия: встал и вышел, не сказав актёрам ни слова. С тех пор труппа импровизировала. Который век. Сюжет топтался, персонажей было слишком много, и мёрли они, не успев раскрыться. Смотрели. Ругали. Продолжали смотреть.

Души умерших поступали к низшим ангелам. Работа была монотонной: души разбирали, как жемчуг, — по цвету, весу, прожилкам. Серые — в отвал, в небытие. Красные — на перерождение по одному маршруту, синие — по другому. Тёмные, с трещинами, полагалось отправлять на дополнительную проверку; её никто не любил, и потому делали особенно тщательно — чтобы не переделывать. Откуда пришла душа, с какого из проектов — сортировщиков не занимало. Отчётность сдавалась раз в эпоху и никем не читалась, что придавало ей особую торжественность.

Но иногда в потоке попадалась жемчужина: редкий оттенок, странный рисунок, непонятная структура. Такую передавали выше. Если и там она вызывала любопытство — ещё выше, к тем, кто умел читать её историю. И если душа оказывалась по-настоящему нестандартной — способной мыс-

лить, спорить, создавать, — ей предлагали остаться. Согласившиеся получали место в иерархии: маленькое, с нижней ступени, без привилегий — только шанс. Отказавшиеся уходили на перерождение, попытать счастья ещё раз.

Самым интересным — в порядке редчайшего исключения — оставляли память о прожитой жизни. Считалось, что это милость. На деле память оказывалась багажом, который некуда поставить. «Помнящие» делали карьеры, заводили знакомства, осваивали регламент — но между ними и небожителями всегда оставался тонкий зазор. Ангелы были с ними безукоризненно вежливы, а вежливость — самая непробиваемая из всех дистанций: своих не благодарят за передачу соли.

Так со временем возник круг. Не тайное общество, не клуб по интересам — скорее, отдел адаптации, которого не значилось ни в одном штатном расписании. Туда приходили те, кто среди своих чувствовал себя лишь почти своим: посидеть среди таких же, поговорить о работе, о новых душах — и изредка, вскользь, о Земле. О ней вспоминали без тоски, как о городе, где прошла молодость: жить там больше не хотелось, но забыть не получалось. Одни, окончательно обжившись наверху, уходили из круга навсегда. Приходили новые. Круг не пустел.

Именно там однажды кто-то произнёс вслух то, что давно витало в воздухе: а что, если бы Верховный сам взглянул на этот мир?

Шутка, конечно. Не более.

Клуб собирался в старом помещении, которое когда-то, ещё в допотопные времена, строилось как торжественный зал. Потом что-то пошло не так, торжество отменили, а зал остался — полузабытый, числящийся единственной строкой в инвентаризационной ведомости. Если бы на небесах существовала пыль, она непременно облюбовала бы это место. Кристально чистый мрамор потускнел, а пол из досок неимоверной длины, пригнанных так плотно, что перо младшего посыльного не пролезло бы в щель, за тысячелетия всё же слегка разохся. Хранителя у зала не было. Двести тридцать восемь шагов по коридору канцелярии, три поворота, помпезные двери на петлях чистейшего золота, ни разу не скрипнувшие, — вход в клуб помнящих.

Акт 1. 2

В тот вечер их было семеро. Марк, бывший легионер, а ныне учётчик третьего маршрута перерождений, рассказывал про свежую партию душ:

— Серые, серые, сплошь серые. За всю смену — одна красная, и та с трещиной. Отправил на проверку.

— Значит, внизу спокойно, — сказала Нефтида, разбиравшая когда-то папирусы в Мемфисе, а теперь — прошения в западном крыле. — Когда внизу спокойно, жемчуг мелкий.

— Солнечная ладья идёт ровно, — добавила она по привычке и махнула рукой куда-то вверх, где по её прежним

представлениям полагалось грести Ра.

— Нет никакой ладьи, — отозвался Вэнь, при жизни — чиновник империи Хань, наверху — делопроизводитель второго стола. — Есть канцелярия. Я всегда это знал, у нас и внизу была канцелярия, только отчётность строже и наказания изобретательнее. Разве что императора вашего нефритового тут не значится...

— В штатном расписании не значится многого, — мягко вставил гость, сидевший с краю, — но Верховный самодостаточен и не нуждается в...

— Мы веселимся, — быстро сказала Нефтида.

— Исключительно веселимся, — подтвердил Вэнь. — Никаких разногласий. Мы же теперь все на одно лицо.

Гость кивнул и не стал продолжать. Здесь вообще сидели те, кто при жизни не встретился бы никогда: легионер, жрица, чиновник, торговец из Газы по имени Ханан, кочевник, так и не увидевший при жизни ни одного города. Наверху это не имело значения. Как ты называл Верховного в прошлой жизни — и называл ли вообще — считалось твоей личной трудностью, вроде акцента. Жемчуг сортировали по цвету, не по молитвам.

Гость же был ангелом — Смотрителем третьей галереи, из зрителей. Он приходил в клуб не таясь, но и не афишируя: числиться поклонником земной постановки было наверху так же почтенно, как у людей — любителем петушиных боёв. Смотритель садился с краю, говорил редко и лишь в

особые, эмоциональные моменты — его интересовало, как пьеса выглядит изнутри, из-под сцены. Стульев в зале хватало с избытком: они были из позапрошлой коллекции, потому, наверное, их и не растащили. А к тому, что ангелы воспринимают происходящее на Земле как пьесу, помнящие давно притерпелись — так было проще. Всем. Да и когда артист уходит со сцены, у него только два пути: в зал или в забвение за кулисами. Досмотреть, чем кончится, было интересно, а учить новую роль из присутствующих никому не хотелось.

— Не понимаю третьего акта, — пожаловался Смотритель. — Эти, в Риме. Зачем они травят друг друга, если каждый и так умрёт? К нам же и попадут. Какая экономия времени.

— Изнутри это выглядит иначе, — вежливо сказал Исидор.

Исидор, архивариус запасного хранилища, говорил в клубе редко. Он и при жизни говорил редко: сорок лет среди чужих рукописей приучают к тишине и к мысли, что всё стоящее уже сказано и подшито. Наверху он занимался тем же, чем внизу, — с той разницей, что здешний архив не мог сгореть. Первые сто лет это казалось ему главным достоинством мироздания.

— А автор? — не унимался Смотритель. — Вы там, внизу, знали, что автор ушёл?

— Догадывались, — сказал Марк. — Некоторые даже на-

стаивали.

— Внизу-то? — оживился Ханан. — Внизу уверены, что он ведёт каждую сцену лично. У меня караван запаздывал на месяц — воля его. Грабители у Газы взяли треть товара — воля его, и заметь, грабители считали так же, у нас с ними даже споров не возникало. А когда у моего соседа по рынку сгорел склад с шерстью, тот три дня кричал, за что ему кара, — и ни разу не спросил, кто ему её устроил... — Ханан вдруг почувствовал, что перечисление заворачивает куда-то не туда, и бодро закруглился: — В общем, воля его — товар особый: спрос вечный, подвоза не требует. Я бы и здесь торговал, да у вас всё бесплатно, живи и мучайся.

— Жаль, — Смотритель вздохнул, думая о своём. — Постановка дичает. Труппа не понимает жанра. Сюжет топчется. Был бы автор в зале — хоть кто-то играл бы в полную силу.

И тогда Исидор — потом, вспоминая, он так и не смог объяснить себе зачем — сказал:

— Так пусть сходит посмотрит.

Стало тихо.

— Кто?

— Верховный. — Исидор пожал плечами. — Автор. Пусть спустится и посмотрит, что выросло из его чернового наброска. Инкогнито, разумеется. Из партера пьеса всегда честнее, чем из ложи.

Марк захохотал первым — смехом человека, переживше-

го три триумфа и одну децимацию. За ним остальные. Смеялись долго, вкусно, добавляя подробности: как Верховный стоит в очереди за хлебом, как торгуется на рынке, как его — его! — обсчитывает меняла. Шутка была хороша именно невозможностью: смешно то, чего не может быть.

Не смеялся только Смотритель третьей галереи — он знал, что смеяться над Верховным опасно. Вот только это было действительно смешно. Расслабляло, вносило краски в жизнь, серую, как утренняя партия жемчуга. Он сидел с лицом зрителя, которому объявили, что автор, возможно, вернётся в зал, — и катал мысль, как монетку по костяшкам пальцев.

Исидор заметил это. И — единственный из всех — перестал смеяться.

Акт 1. 3

У шутки, отпущенной в хорошей компании, есть свойство, о котором не пишут в регламентах: она отвязывается от автора. Уже через неделю Смотритель третьей галереи пересказал её Смотрителю первой — разумеется, как собственное наблюдение. Тот поделился с Хранителем реестра, слегка расправив формулировки. Хранитель упомянул её в разговоре с секретарём малого совета — уже без слова «шутка», со словом «мысль». Секретарь занёс её в памятную книжку со словом «предложение».

Так, поднимаясь с этажа на этаж, шутка теряла смех —

как теряет живые слова прошение, которое на каждом этаже переписывают набело. К дверям тронной канцелярии она добралась выхолощенной до полной серьёзности, и звали её теперь «инициатива о личной инспекции проекта». Никто не помнил, чья она. Это устраивало всех.

Малый совет обсуждал инициативу с осторожностью лекаря, ощупывающего гнойник. С одной стороны, предлагать Верховному что бы то ни было не входило в обычаи — Верховный не нуждался, и этим исчерпывалось всё. С другой стороны, все понимали то, о чём не говорилось: правитель скучал. Скучал давно, тяжело, всей вечностью сразу, и скука его висела над небесами, как громовые тучи над осенним городом. При такой скуке любое развлечение становилось делом государственной важности.

Решился Архистратиг — созданный лично, ещё до всех проектов, и потому позволявший себе неслыханное: говорить первым.

— Владыка, — сказал он. — Вы правите вечность. Вы создали миры. Но вы ни разу не видели ни один из них изнутри — глазами творения. Отчёты лгут не потому, что лгут писцы...

Владыка прищурился и провёл пальцами по краю стола — с нажимом. На пол посыпалась древесная труха. Архистратиг чуть сменил тон и продолжил:

— ...а потому, что снизу всё выглядит иначе. Спуститесь. Инкогнито. По местным правилам — родиться, вырасти, по-

смотреть. Столько, сколько сочтёте нужным.

Владыка насупил брови в раздумьях. Архистратиг легко поклонился и сделал шаг назад.

Вслух он больше ничего не добавил. Про себя добавил многое. Он читил владыку так, как чтят только созданные лично, но он помнил Потоп — не сам Потоп даже, наверху это значилось перерасходом воды, — а те неисчислимые сменяемые внеплановых работ, когда небеса восстанавливали внизу экосистему. Ресурсы, знаете ли, конечны. *Только бы обошлось без «переделать»,* — подумал он. — *Мы ведь только-только всё построили.*

Верховный молчал так долго, что у врат престола дважды сменились стражи.

— Инкогнито, — сказал он наконец, и было непонятно, вопрос это или уже условие.

Говорят, потом он усмехнулся. Проверить это невозможно: все, кто присутствовал, впоследствии разошлись во мнениях, а затем и в существованиях.

О спуске не объявляли. Но небеса — это канцелярия, а в канцелярии тайна отличается от новости только грифом. К назначенному сроку галереи были переполнены так, как не переполнялись никогда: зрители из отделов, отродясь не смотревших вниз, занимали места по протекции, стояли в проходах, подсаживались на подлокотники. Смотритель третьей галереи взирал на новичков со снисходительностью зрителя, чей абонемент был старше самих галерей.

— Запомните этот день, — говорил он. — Автор — внизу. Сам. Весь, целиком, без остатка.

Врал, положим: не весь. Сила осталась наверху — так было условлено; вниз ушло то, что помещается в младенца. Полный круг, по местным правилам, с самого начала: канцелярия сочла, что инспекции полагается начинаться с худших условий, и потом ещё долго гордилась этим решением — в узком кругу, не распространяясь.

Начало, честно сказать, разочаровало и публику. Провинция, перепись, дорога — до приличной повитухи так и не доехали, рожать пришлось в хлеву. Впрочем, на всё воля Его. Затем — плотницкая мастерская. Годы — земные, мелкие, но всё же годы — стружки, досок и молчания. Случайная публика заскучала и разошлась: за свой счёт много не насмотришься. Остались старожилы. Старожилы говорили: смотрите внимательнее. Смотрите, как он взирает и познаёт. Владыка изучал собственный мир с ошеломлением творца, который набросал черновик в молодости и вдруг нашёл его изданным, расхвачанным на цитаты и переиначенным до неузнаваемости.

А потом он начал говорить — и галереи забились снова. Он говорил простыми словами простым людям, и наверху сначала не поняли, что происходит. Потом поняли: владыка вносил правки. Прямо по живому, в обход канцелярии — голосом, без единой резолюции. Регламент ничего подобного не предусматривал, и оттого зрелище завораживало: так

смотрят на пожар.

Старожилы, впрочем, тревожно перешёптывались:

— Кто ж так делает... Там же Рим. Там за такие речи...

— Он им ещё и про мытарей. Мытарям — про честность.

Наместнику — про истину.

— Сам виноват, вот что я скажу. Знал бы, куда спускается,

— читал бы сводки...

И шептавшие испуганно оглядывались — не слышал ли кто.

В клубе помнящих в те годы было тихо. Приходили, садились, смотрели вниз со всеми — где какое место найдут, там и пристроятся, но непременно вместе. Исидор не пропускал ни вечера. Он говорил себе, что архивариусу положено следить за источниками. Но внутри — в том внутри, куда он предпочитал не заглядывать, — каждый вечер проверялось одно и то же: узнают или не узнают.

Не узнали.

Наверху это поняли раньше, чем внизу, — у зрителей было преимущество: они знали, кто стоит перед толпой. Они видели, как складывается то, чему внизу ещё не подобрали слов: раздражение книжников, тревога наместника, усталая злоба людей, которым обещали царя, а показали правку.

О том дне на небесах не рассказывают. Не потому, что запрещено — запрет появился позже и касался другого. А потому, что галереи, впервые за всю историю наблюдений, смотрели молча. Тысячи зрителей, проходы забиты — и ни

звука. Внизу стучал молоток, буднично и старательно, как в любой плотницкой мастерской, и этого звука наверху не заглушило ничто.

Смотритель третьей галереи досидел до конца. Потом встал, поправил несуществующую пылинку и пошёл к выходу, очень прямо. У дверей его качнуло.

Акт 1. 4

Возвращения тоже никто не объявлял. Он просто появился в дальнем конце Коридора приёмов — босой, в том же облике, в котором его снимали с креста, — и пошёл к тронной канцелярии.

Коридор приёмов длинен; по сторонам его — сотни дверей. Перед идущим они закрывались сами, волей его, одна за другой, и не шаги отдавались эхом под сводами, а этот звук: тук. Тук. Тук. Ровный, деревянный, старательный — где-то его уже слышали, но никто не позволил себе вспомнить где. Приближённые исчезали из коридора так поспешно, что казалось — испарялись. Босые ноги оставляли на мраморе тёмные отметины, по две на каждый след; их потом долго не могли свести и в конце концов заменили плиты — неуничтожимый мрамор, который никто никогда не менял.

Двери тронной канцелярии закрылись последними — на волосок разминувшись с драной, засаленной тряпкой, заменявшей саван. И тогда началось.

Он бушевал так, как бушует человек — потому что че-

ловеческое, впущенное внутрь за тридцать три года, не выходит за один вечер. Наверху ещё не знали этой ярости — бушующей, всепоглощающей. Прежний его гнев был холоден и распоряжался стихиями; этот швырял вещи. Бесценные артефакты, дары послов из миров, о которых небеса знали лишь то, что они есть; подношения, копившиеся эпохами, — всё, что находилось ближе десяти шагов, рассыпалось тленом. Стены тронного зала — тем самым неуничтожимым мрамором — покрылись серым налётом, который потом отскабливали целой артелью.

Стоило предположить, что Он успокаивается, и ближайший круг набирался смелости подступить к дверям, — как свет мерк, вспыхивал так, что выдерживали не все, и крик ярости возобновлялся. Стены тряслись, анфилады дрожали, на столе секретаря звенели письменные приборы.

Небеса слышали всё. В коридорах гремел гром, в западном крыле шёл дождь — прямо под сводами, мелкий, безнадёжный, совершенно земной. В садах первой засохла смоковница — мгновенно, до последнего листа, словно по личному счёту. Голуби — любимые птицы, выведенные когда-то для торжеств, — с того дня разучились вить гнёзда и не научились до сих пор.

Это продолжалось три дня.

На третий день всё стихло — резко, как тропический ливень.

Канцелярия выждала приличествующую паузу и осторож-

но вернулась к работе. Стражи заняли посты, писцы — столы, артель приступила к мрамору. Все старательно делали вид, что гроза прошла.

Тишина оказалась хуже грома.

Сначала изменился воздух.

Никто не смог бы сказать, когда именно: у гнева Верховного не было ни запаха, ни цвета, он не значился ни в одной сводке. Он просто рассеивался по небесам, как дым дальнего пожара — огня не видно, а дышать уже другим. Писцы стали переписывать готовые листы по второму разу. Стражи у врат, тысячелетиями смотревшие сквозь проходящих, начали смотреть на них. В столовых для младших чинов сделалось тихо: разговоры сворачивались на полуслове, как улитки от прикосновения.

Затем изменились бумаги.

Поток входящих в запасное хранилище не вырос — он изменил состав, как река меняет воду после дождей в верховьях. Первой пришла папка с распоряжением «об учреждении в пределах проекта постоянного института надзора за исполнением воли Его — с полномочиями сдерживающего и карательного свойства». Ответственный. Исполнители. Срок исполнения — триста лет; по меркам проекта — незамедлительно. Штамп. В архив.

Чтобы подшить её, Исидору пришлось идти в дальний раздел — туда, где хранились карательные мероприятия. Он не заглядывал в те стеллажи ни разу за всю службу: повода не

было, раздел стоял мёртвый. Полка оказалась почти пуста. Потоп. Ещё несколько тонких папок. Содом. Исидор постоял перед ней — открывать не стал, содержание помнил по описи, — и поставил новую папку рядом. Раньше это был раздел истории. Теперь это был действующий раздел, и в него поступало пополнение.

Через неделю пришли ещё две бумаги, с разницей в два дня. Первая — докладная о некомплекте: приёмное отделение испрашивало расширения штатов. Вторая — распоряжение по проекту: «обеспечить поступление душ в объёмах, соответствующих потребностям, посредством морового поветрия повышенной производительности». Исидор зарегистрировал обе — они легли на соседние строки одного реестра, потому что реестр был общий. Сопоставлять входящие не входило в его обязанности. Первой бумаге он удивился. После второй до вечера не мог работать — и не смог бы объяснить почему.

В клубе тем временем сталолюдно.

Клуб делал то, для чего существовал испокон: отогревал свежих, пока не отпустит земное. Веками это был тонкий ручеёк — двое-трое за столетие, приток и отток. Теперь ручеёк набух. Новенькие приходили по двое за вечер, и все с одинаковыми глазами.

— Слегли всей улицей, — рассказывала Мара, сирийка, за пять минут успевшая спросить о своих у каждого. — Первым сосед, красильщик, потом его дети, потом уже не счита-

ли. Хоронить стало некому, и никто не приходил, ни лекарь, ни жрец. А до болезни три года не было караванов, соль кончилась, отец менял посуду на зерно... Вы не встречали моих? Я всех спрашиваю. Мне сказали, тут все встречаются.

Ей объяснили про маршруты перерождений — мягко, как объясняют устройство больницы тому, кто ищет в ней живых. Она кивнула и на следующий вечер спрашивала снова.

— Контингент пошёл... — вполголоса заметил кто-то из старожилов. — Раньше отбирали как-то...

— Раньше и времена были другие, — оборвала Нефтида. Но где-то в глубине, стыдясь

себя, согласились все: свежие были совсем сырые. Земля выдавала наверх людей, не успевших пожить.

О своём, небесном, говорили глуше. Перестановки, слияния отделов, переводы без объяснений; в опустевшие столы сажали новых — одних из соседних ведомств, растерянных, других вовсе из жемчуга, не умевших ничего. Марк рассказывал про новое распоряжение по приёмке: трещина трещиной — брак есть брак, — но цвета велено смотреть тщательнее, оттенков прибавилось, люди внизу пошли сложнее. И появился цвет, которого раньше не было: коричневый. Инструкция по нему пришла отдельная — таких, вне зависимости от веса и размера, на перерождение; в отвал только совсем расколотых.

— Я думаю, это из нового ведомства, — сказал Марк, понизив голос. — Которое внизу учредили. Оттуда идут — и

их велено возвращать в оборот. Кадровый резерв.

— Рук всё равно не хватает, — вздохнул Вэнь. — Простить, что ли, у начальства ещё пару. Или две пары. Говорят, у Верховного их...

— Вэнь, — сказал Исидор. Тихо, но так, что все обернулись: Исидор никогда никого не перебивал. — Не сейчас. Не такие времена.

Вэнь посмотрел на него, хотел отшутиться — и не стал. Времена действительно были не такие.

Смотрителя первой галереи взяли в присутственный час, посреди коридора канцелярии, при десятках свидетелей — и, как Исидор понял позже, свидетели были не помехой, а целью. Четверо из ведомства, которого никто не знал по имени, взяли его буднично и жестоко, как берут мешок с зерном: не глядя в лицо. Смотритель успел сказать «позвольте, я лишь...» — и больше не успел ничего. Его повели, и он вдруг обвис у них в руках, разом, как одежда, с которой сняли хозяина, и волочился ногами по мрамору, и все стояли вдоль стен и смотрели, и никто не смотрел.

Исидор стоял у своего окошка выдачи. В какой-то момент он отступил на полшага и прислонился к стене — стена оказалась холодной, и сквозь холод он понял, что вспотел. Впервые за всю небесную жизнь. Он не знал, что здесь так умеют.

Звук он запомнил лучше, чем картинку: шорох. Мягкий, длинный шорох подошв по камню, отчётливый в коридорной тишине. Внизу он слышал такое. Так шуршали мешки,

которые волокли к воде в год, когда в Александрии меняли власть.

Вечером он долго тёр себя в келье — плечи, руки, шею, — словно ужас был краской и мог сойти. Ужас не сходил; он впитался куда-то глубже кожи. А из глубины навстречу поднималось то, что Исидор считал утопленным вместе с прошлой жизнью. Мешки тогда тоже всплывали — если стражники жалели камней, мешки всплывали, и их отталкивали баграми, и они всплывали снова, ниже по течению, у самых причалов. Он тёр кожу и отталкивал, тёр и отталкивал, и уже не разбирал, что именно всплывает у причалов его памяти — мешки, воспоминания о мешках или воспоминания, зашитые в мешки, — багор работал, вода была тёмная, краска не сходила.

Ночь наверху была условной — просто время, когда полагалось не работать, — но никогда ещё она не тянулась так долго. Исидор ворочался. Голова болела — боли наверху не предусмотрено, он знал это твёрдо, и она болела. Скрипело — не то внезапно ставшая жёсткой кровать, не то простыня, не то это был вовсе не скрип, а шорох, тот самый, подошвами по мрамору, и он переворачивался на другой бок, чтобы лечь от шороха спиной.

Он не хотел думать. Но многовековой опыт любимого ремесла работал сам, без спроса: где-то внутри, в самом тайном из архивов, невидимый архивариус сортировал факты по полкам, подшивал, ставил штампы. Бумажный след начи-

нается с памятной книжки секретаря — раньше её не было ни одного документа, одни слова. Слова не подшивают. Штамп. Но Смотрителей взяли обоих — и первой галереи, и... — значит, спустились ниже бумаг. Значит, читают не записки. Память. Штамп. А в чьей-то памяти — зал, золотые петли, стулья из позапрошлой коллекции и архивариус, который сказал: так пусть сходит посмотрит. Штамп. Подшито. Дело растёт.

И там, в том деле, жил второй Исидор. Тот, что значился в протоколах — если протоколы существовали; в чьей-то вытрясенной на допросе памяти — если допросы велись. Настоящий Исидор лежал в келье и не знал ничего. Второй жил насыщенно: его называли, описывали, вспоминали, его вина прирастала с каждым допросом, которого, возможно, не было. К утру второй Исидор стал почти осязаемым — казалось, ляг он в келье, и простыня примет форму его тела.

Исидор резко открыл глаза. Понял: ему нужен отдых. Отпуск. От слова «отпуск» по телу разлилось тепло, и он держался за это тепло до самого рассвета, старательно не вспоминая, что отпуск штатным расписанием не предусмотрен.

Утром он умылся, и безумие смылось — как смывалось потом каждое утро. Он даже нашёл в себе силы пойти в галереи: не смотреть вниз, просто увидеть знакомое лицо. Смотритель третьей галереи всегда сидел с краю, у прохода.

С краю, у прохода, сидел Смотритель третьей галереи.
— Прошу прощения, — сказал Исидор. — Я искал... вы

недавно назначены?

— Приступил на этой неделе, — сказал Смотритель третьей галереи. — Прежний переведён на усиление дальних проектов.

— Он был... мы с ним беседовали иногда. О постановке.

— О наблюдаемом объекте, — вежливо поправил Смотритель. — Я веду третий сектор: фиксация отклонений, суточные сводки. Если желаете справку о конкретных особях, подайте запрос установленным порядком.

— Особях, — повторил Исидор.

— Ну не трупой же их называть, — Смотритель позволил себе тень улыбки, показывая, что осведомлён о слабостях предшественника. — Наблюдение есть наблюдение. Привязанность искажает отчётность.

Он кивнул — вежливо, как кивают незнакомым, — и отвернулся к проёму, за которым шла, ни о чём не подозревая, земля. Та же должность. То же кресло. Обращаться больше было не к кому: должность на месте, а существа нет, и спросить, куда деваются существа, если должности на месте, было некому и незачем.

Исидор шёл домой мимо открытых дверей и анфилад. Ноги слушались, но никак не хотели подниматься; откуда-то взялся камешек в сандалии и натирал — пришлось прислониться к колонне, разуться, вытряхнуть. Камешка не было. Мимо шли ангелы, он вежливо кивал и улыбался, но глаза под полуопущенными веками делали своё: всё расплыва-

лось, тускнело, перечёркивалось тонкими нитями, которые плавали в воздухе, как паутина, — и никто, кроме него, этих нитей не замечал. Хотелось кричать — не слова, просто звуки, те, что распирали грудь. Хотелось выцарапать их оттуда и швырнуть в первое попавшееся безмятежное лицо. Исидор закрыл глаза и почувствовал, как пальцы впиваются в грудь, продавливаются сквозь большую грудную мышцу к малой, к самому...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.